

Стихотворения Н. Щербины. Два тома. СПб., 1857 г.

Первый, очень небольшой по объему сборник стихотворений, изданный г. Щербиною, показал в нем поэта с замечательным талантом. С того времени прошло семь лет. Г. Щербина в продолжении этих лет постоянно печатал свои произведения в разных журналах. Многие из новых пьес были прекрасны, но известность г. Щербины мало возвышалась до последнего времени, когда начали появляться его "Ямбы". Благородная мысль, одушевлявшая эти пьесы, живо вызывала сочувствие каждого порядочного человека. Но если мы подумаем о том, какое громкое одобрение заслужили пьесы с современным содержанием г. Бенедиктова, то не можем скрыть от себя, что поэт с таким талантом, как г. Щербина, касаясь живых идей, должен был бы возбудить гораздо больший восторг, – не можем защититься от мысли, что "Ямбы" г. Щербины, хотя и не были бессильны, но не производили того действия, какого должно было бы ожидать от пьес подобного содержания, писанных человеком истинно даровитым, каким невозможно не признавать г. Щербину.

Г. Щербина видит и, мы уверены, оценит прямо, с которою мы говорим о его стихотворениях. Если б мы не были убеждены в силах его таланта, не были уверены, что при более верном употреблении своих сил талант его может явиться публике в блеске, несравненно более высоком, – если бы мы не были уверены в этом, мы не коснулись бы щекотливого вопроса, нами поставленного на вид. Мы просто сказали бы, что г. Щербина – "один из лучших наших поэтов в настоящее время", что "его прекрасный талант отличается такими-то и такими-то превосходными достоинствами", что "хотя, конечно, и у него, как у всякого другого, есть произведения слабые" (о чем упомянули бы только слегка, для формы), но что "такие-то и такие-то пьесы у него истинно очаровательны своею прелестью, а такие-то и такие-то очень замечательны своею благородною энергиею", – наговорили бы множество похвал этим прекрасным пьесам, – и тем кончили бы наш отзыв. О недостатках пьес ничего или почти ничего; о достоинствах – много, очень много. Так мы поступили бы, если б дело шло о таланте обыкновенном, который пусть себе развивается, как случилось, от которого нельзя ожидать ничего лучшего, нежели те прекрасные пьесы, которые он уже дал нам. Но талант г. Щербины – это дело совершенно другое. Вопрос о нем довольно важен для того, чтобы отбросить в сторону всякую щекотливость и высказать не только то, что приятно, но и все, что нужно высказать. Такие таланты являются не каждый день. Если такой талант не сделает всего, что может сделать, это будет уже потерей для литературы. Тут дело важнее всяких личных отношений.

Мы прямо поставили вопрос о несоответствии известности, которую доставили г. Щербине напечатанные им до сих пор произведения, с силами его таланта. И так же прямо отвечаем: это несоответствие происходит оттого, что г. Щербина до сих пор еще не нашел верного употребления для сил своего таланта; он все еще стесняет себя или принужденностью форм, или принужденностью тона, боясь отдаться естественному влечению своего таланта.

Он начал стихотворениями, которые сам назвал "греческими" и которые всего лучше можно охарактеризовать, сказав, что они очень близки по духу, а часто и по достоинству формы, к стихотворениям Шенье. Мы не знаем, насколько участвовало в их происхождении влияние Шенье, насколько личная симпатия автора к античному миру, насколько разные другие влияния или сочувствия. Если бы талант г. Щербины по натуре своей мог удовлетвориться этим родом поэзии, мы ничего не сказали бы против того, но увидели бы только, что в этом случае каприз природы произвел среди нас человека, который говорит прекрасно, но говорит не нашим языком, которого мы можем понимать, но не иначе как при помощи ученых соображений и искусственно возбужденного настроения мыслей. Но не все так думают.

Для многих именно то и кажется поэзией, что удалено от нашей обыкновенной жизни, что понимается только посредством особенного напряжения мысли. Люди, увлеченные этим предрассудком, сделали два предположения: во-первых, что так называемая античная форма есть высочайшее совершенство искусства; во-вторых, что г. Щербина по натуре своего таланта не может быть ни чем иным, как поэтом античной формы.

Не знаем, сам ли г. Щербина проникся таким понятием о сущности своего таланта и о достоинствах античной формы, или это предубеждение было навеяно на него толками, которые поднялись в этом смысле после появления его "Греческих стихотворений", но только после издания своих "Греческих стихотворений" он долго поступал так, как будто убежден был, что вообще поэт будет делать прекрасно, если станет держаться античной формы, а ему, г. Щербине, решительно необходимо держаться этой формы. Он все писал в том же духе, в той же манере, как были написаны его "Греческие стихотворения".

Мы не знаем, собственно ошибкою или чужою виною вовлечен был он в эту односторонность, но дело в том, что эта односторонняя манера скоро оказалась искусственною и натянутою. Мы видим, что по собственному ли влечению или под влиянием Шенье, но во всяком случае первые греческие стихотворения г. Щербины были написаны без натяжки, без насилования таланта, — в такой форме сами собою рождались поэтические идеи фантазиею поэта, — а у поэта этого есть сильный талант, — потому эти пьесы и вышли хороши, как выходит хорошо все, что пишет человек с талантом, не насилуя свой талант. Форма была тесна, но что ж за беда, если поэт еще не чувствовал себя стесненным в ней?

Если бы г. Щербина мог остаться навсегда, по свободному влечению, верным античной форме, его стихотворения никогда не приобрели бы большого значения в литературе, хотя сами по себе могли быть прекрасны.

Это, однако, продолжалось очень не много времени. Скоро г. Щербина исчерпал содержание, какое естественно представляется соединенным с античною манерою, — и все-таки продолжал, по теории, писать в античной форме, — стихотворения его стали казаться уже повторениями прежних; идеи и образы, сами собою являвшиеся его воображению в этой форме, были истощены, — он начал придумывать их — пьесы стали иметь характер искусственности, талант являлся стесненным, произведения натянутыми.

Если б он остановился на этом, мы сказали бы, что его талант болезненно остановился на первой ступени развития и потерял способность идти вперед. Но через несколько времени г. Щербина перенес любовь свою от стихотворений античного содержания к пьесам, в которых идея принадлежит или вообще новому миру, каковы "Песни о природе", или даже именно нашему обществу, каковы "Ямбы". Но долгая привычка писать в античной манере не могла быть покинута сразу, — и форма очень многих из этих пьес не соответствовала идее. В других, покинув, по-видимому, античную форму, он еще не оторвался от привычки, приобретенной вследствие искусственных приемов, посредством которых писались его позднейшие античные пьесы, — и в форме заметна придуманность, ухищренность; а часто его мысль остается отвлеченною мыслью, потому что фантазия автора, от долгой привычки иметь дело только с античными образами, не находит еще образов, которые были бы живым воплощением новых идей, вошедших в его ум, или потому, что автор все еще не решается сойти с треножника пифии и заговорить простым языком, свойственным поэзии нашего времени. Он по старой привычке все еще стесняется мыслью о живописности и величественности поз; он еще не привык чувствовать себя как дома в нашем мире, хотя античный мир уже наскучил ему. Держитесь непринужденнее, говорите проще, забудьте о стеснительных претензиях на величие, не стыдитесь являться просто человеком, а не олимпийцем, скажем мы ему.

До сих пор г. Щербина не решился еще предаться безвозвратно, без оглядок на древний мир, влечению жизни и таланта. Он давно почувствовал, что в Петербурге или Москве неудобно и холодно носить хитон афинянина и нельзя довольствоваться созерцанием звезд, лежа на роскошной зелени, — во-первых, роскошной зелени у нас нет, во-вторых, если остаться на целую ночь на открытом воздухе, да еще лежа на траве, то поутру непременно почувствуешь ревматизм в боку. Г. Щербина заметил это и вошел в наши северные комнаты с

двойными рамами, но он все еще не привык непринужденно говорить о сапогах и двойных рамах, его все еще смущает мысль, что это предметы не совсем благородные сравнительно с сандалиями и перистилем, – об исключительно изящных предметах он, наконец, перестал говорить, но еще не заговорил о неизящных, потому-то мысль в его "Ямбах" остается отвлеченною мыслью.

Не для того, чтобы в самом деле нужны были доказательства (вероятно, каждый читатель, думавший о стихотворениях г. Щербины, давно уже сам замечал то же самое, что говорили мы), но чтобы нас нельзя было упрекнуть в бездоказательности, мы представим хотя по одному примеру тех ошибок, в которые вовлекала г. Щербину ошибочная теория, заставлявшая его держаться античной формы после того, как образы, ею непринужденно рождаемые, были истощены и талант начал увлекать поэта к другим сферам поэтических идей.

Мы говорили об искусственности, изысканности, которая явилась в его античных стихотворениях, когда истощились античные идеи и образы, непринужденно возникавшие в фантазии автора, – примером этого пусть служит пьеса "Волосы Береники". "Береника, жена Птоломея-Эвергета, отправлявшегося в Азию для завоеваний (объясняет автор в примечании), дала обет богам отрезать свои волосы им в жертву, если муж ее возвратится победителем, – что и исполнилось. Волосы были положены в храм Венеры-Зефириты; но жрецы сказали, что они исчезли ночью из храма, и Конон, знаменитый александрийский астроном, вероятно по наущению жрецов, объявил, что открытое им в это время новое созвездие – волосы Береники, превращенные богами в звезды, подобно венку Ариадны". В этом рассказе есть поэтические моменты: грусть любящей жены, отпускающей мужа на войну, – тоска разлуки, мучительность опасений за его жизнь, – готовность жертвовать всем, даже лучшим блеском своей красоты, для счастья и безопасности любимого человека, наконец, апотеоза этой любви, дающей человеческому существу высочайшую красоту. Но в этих чувствах и ситуациях нет ничего специально античного, – они общи всем народам и векам, в том числе и европейцам и нашему веку, а г. Щербине нужны специально античные образы и мотивы, – и вот он придумывает следующие мотивы:

*Речь веду я со звездами,
Говорю свои им сны
И люблюсь волосами
Эвергетовой жены.*

*И они с небес запели
Песню жалобы своей;
Их мелодии летели
С неба золотом лучей:*

*"Возлиянья и обеты
От земли несутся к нам,
Мы величием одеты,
Жены, девы и поэты
Причисляют нас к богам.*

*Нам в эфире неотрадно.
"Семизвездием сиять,
Где сияет Ариадна,
Упиваться славой жадно,
Фимиами обонять.*

*С головы холодной сталью
Мы как жертва снесены.*

*Береникиной печалью
И такой безмерной далью
От нее отдалены... " и т. д.*

Как могла прийти поэту мысль заставить нас слушать жалобы посредством "золота лучей", воспеваемые отрезанными волосами? Не гораздо ли проще было заставить женщину плакать о своих утраченных волосах? Но это была бы такая ситуация, которая может случиться везде и всегда, не в одном античном мире, а г. Щербине нужно было взглянуть на предмет не так, как смотрят на него в новом мире, и, вместо плача женщины о волосах, он придумал плач волос о женщине. Итак, волоса Береники плачут о ней, жалуются на нее: положим, пусть они плачут, хотя это и неправдоподобно; послушаем, однако, в чем они винят ее? вероятно, просто в том, что она не пожалела свои прекрасные кудри, – винят в безжалостности к самой себе? Нет, в преступлении перед искусством: "Прежде, говорят кудри, –

*Наполнялась вся палата
Благовонием от нас,
Оттеняли мы когда-то,
Лоснясь маслом аромата,
Снег чела и краски (?) глаз.*

*Но преступною женою
Пред Искусством стала ты,
Разлучая нас с собою
И разбив своей рукою
Стройность женской красоты", –*

ради античного воззрения, вместо живой женщины, которая делает огорчение себе, является уже статуя, которую разбить – значит сделать преступление не перед идеею человека, даже не перед богинею красоты, а просто перед отвлеченным понятием искусства. Преклони богов мольбами, говорят Беренике волоса, чтобы они возвратили нас на твою голову, – зачем же это нужно? Затем ли, чтобы ей была возвращена прежняя красота, или чтобы волоса перестали грустить? Нет, опять выдумка: волоса Береники должны быть взяты с неба, чтобы не разлучать на небе два созвездия, которые питают любовь друг к другу:

*Преклони ж богов слезами,
Даром жертвы дорогой,
Чтоб с падучими звездами
Мы скатились волосами
Над твоею головой;*

*Чтобы мы не разделяли
В небе любящих друзей;
Чтоб как прежде заблестали
И светить бы рядом стали
Орион и Водолей.*

Да почему же мы знаем, что Орион и Водолей – любящие друзья? О их дружбе даже и мифология ничего не говорит.

На такую тему, на такие мотивы написано стихотворение в сто два стиха.

Мы привели пример натянутости, в которую впадал господин Щербина, отыскивая античные темы и придумывая античные мотивы, когда уже истощился запас, естественно представлявшийся его фантазии сферою идей античной манеры. Теперь приведем пример того,

как вложенная античную теорию привычка уничтожала соответствие между идеею и формой, когда он, утомившись античными темами, начал изображать явления более близкой к нам действительности.

Вот его "Нимфа вьюги" – каким же образом нимфа вьюги? были нимфы цветущих, благоухающих полей, сладко шепчущих ручейков, светлых речек, текущих среди бархатных лугов, испещренных яркими цветами, под задумчиво уютною, сладострастно густою тенью розовых и миртовых кустарников; но как можно вообразить себе это нежное, живущее солнцем и цветами существо среди громадных сугробов снежной степи, во время вьюги? Бедная нимфа, она так легко одета, что смертельно простудится, если вздумает явиться среди такой обстановки, когда и у старой ведьмы в овчинном тулупе стучат зубы во время сатанинской пляски! – Но, – говорит г. Щербина, –

*Но классические грезы,
Грезы вечные людей!
Вас питают и морозы
Бедной родины моей;
Вам такая же подруга
Как аттическая ночь,
Наша северная вьюга –
Дочь Гекаты, мрака дочь.
Еду я... передо мною
Нимфа вьюги восстает
И над снежной пеленою
Все кружится да поет,*

(Нет, во время вьюги даже переносливая к холоду ведьма может только завывать, – голос дрожит от мороза).

*А когда сквозь прах сыпучий,
Сквозь лохмотья белых туч
На покров полей зыбучий
Бросит месяц бледный луч, –
Беломраморной рукою*

(Нет, у ней ручка уж давно посинела от холода, – мы боимся даже, не отмерзла ли).

Нимфа вдаль меня манит,

(Ну, это уж напрасный труд; не только нимфа какая-нибудь, – сама Венера Анадиомена не выманит меня из плотно застегнутой фартуком кибитки во время вьюги).

*И хохочет надо мною,
И рыдает, и грозит.
То меня охватит страстно,
Током бури обовьет, –
И, бесчувственно-прекрасна,
В пляске с вихрем отойдет...
Но развеет шаловливо
Ветер тунику у ней, –
Нимфа спрячется стыдливо
В волны снежные полей...
Но, глядишь, на волке смело*

*Нимфа скачет предо мной
И его по шерсти белой
Гладит ласковой рукой.*

(Лев благородный, великодушный властитель лесов, смирялся перед красотой; но злобный волк только и смотрит, как бы схватить за горло; притом же он безобразен, отвратителен; нимфе должно быть и неприятно и опасно даже издали видеть волка, -- сесть на него она не решится, это верно).

*И улыбкой открывает
Ряд роскошных жемчугов,
Волшебством ее сзывает
Хор полуночных духов и т. д.*

Античный образ нимфы, олицетворяющий вьюгу существом грациозным, нежным, прелестным, совершенно разрушает всякое соответствие между сущностью изображаемого явления и его изображением.

Вот другой пример раздора, вносимого античным представлением в создание, по идее принадлежащее нашему миру, – эта пьеса не велика, и потому выписываем ее вполне:

Поэт

*На служение мысли высокой,
На служение правде я взрос;
Но кинжал ее спрятал глубоко
Между веткою миртов и роз...*

*И, в руке с этой веткой душистой,
Как Гармодий я в мир выхожу, –
Красотой ее мирной и чистой
Я неправду и зло поражу.*

*Эта битва без крови и гнева, –
Наслаждением дышит она:
Ей причаены и старец, и дева,
И младенец, и муж, и жена.*

*Тем велико твое назначенье
Между братьев, поэт гражданин,
Что без терний свое поученье
Насадить ты способен один.*

*И ты каждое дело и чувство
Обреки на добро и осмысль...
Твоя ветка – созданье искусства,
А кинжал твой – правдивая мысль.*

Обратите внимание на две первые строфы, – какой стройный и точный образ! Но античная манера требует невозмутимости духа, олимпийского спокойствия в самой борьбе (то есть по нашему обычному понятию об античности; по греческой мифологии не так, – там и самые олимпийцы страдают, вопиют от ран и боятся Стикса; но ведь мы имеем дело не с истинным греческим миром, а с обыкновенными современными понятиями об античности), –

античность требует невозмутимости, отвращается и от наносимых и претерпеваемых страданий, – и вот в угоду этой теории г. Щербина прибавляет, что битва поэта с неправдою должна быть "без крови и гнева" и поучение его "без терний", – забывая, что даже на ветке роз, которую он держит в руке, есть шипы, иначе сказать, терния, которые все-таки оцарапают до крови и рассердят, если он станет "поражать" эту ветку.

Поэт, по античной теории, должен быть невозмутимо спокоен в своем служении искусству, – он смотрит на землю с высоты Олимпа, поэтому-то, в пьесе о волосах Береники, г. Щербина и говорит, что поэт должен, лежа на траве у потока, созерцать небо, не касаясь земных треволнений:

*Я лежу ночной порою
У потока на траве,
Весь очами и душою
В лучезарной синеве.*

*Я на лоне мирной страсти,
Мысли сердца полон я;
Красоте в объятья власти
Отдана душа моя:*

*Вижу яркий образ всюду
И прекрасные черты...
И всегда поэтом буду
Я любви и красоты!*

*Вам, художники другие,
Горе дня и ложь людей,
Вам, мечтания больные,
Стон и жалобы страстей!*

*То моя отвергла лира,
Что проходит с каждым днем,
Что изгонится из мира
Вечной правды торжеством...*

*Верьте, молча я страдаю
И больней страдаю вас,
Сокрушаюсь, наблюдаю
Каждый жизни вашей час;*

*Но того, что не достойно,
Я искусству не даю
И в душе горячкой знойной
Зло без образов таю.*

*Речь веду я с небесами,
Говорю свои им сны
И люблюсь волосами
Эвергетовой жены... и т. д.*

Мы уж заметили, что выбор предмета, которым любовался г. Щербина, неудачен. Но теперь не о том дело, – мы уже объяснили, как умели, неудачность результатов, до которых

доводила г. Щербину теория античности. Надобно теперь заметить, что если он очень долго держался ее, то наперекор влечению своего таланта, насилуя свои мысли, – античность давно уж не удовлетворяла его, и напрасно усиливался он в 1853 году (год, которым отмечена пьеса "Волосы Береники") запрещать своей лире "песни о том, что проходит с каждым днем, что изгонится из мира торжеством правды", – он давно уж не мог удержать себя от того, чтобы говорить о "страданиях и горе", которые, по теории, гордо признавал "предметами, недостойными искусства", – большая часть "ямбов", карающих зло, написана им до 1853 года, иные и в 1853 году, – следовательно, давно уж он отступил и в то самое время отступал на деле от своей антично-бесстрастной теории, когда так гордо и упорно провозглашал ее.

Но теоретические ошибки, когда теория так упорна и горда, как была античная теория у г. Щербины, не проходили даром. Пусть практика тайком изменяет теории, – теория все-таки наложит на нее свою печать. Печать эта видна на "Ямбах" г. Щербины.

Его фантазия по требованию теории отвергала всякие образы, кроме невозмутимо прекрасных, античных картин, – он, как человек, "страдал и сокрушался, наблюдая жизнь", – мы верим ему, что он страдал и о скорбях людей "больнее" многих других поэтов, но как поэт он насильно изгонял образы, которые могли бы быть поэтическим воплощением этой человеческой скорби, – он, не будучи в состоянии изгнать из сердца скорбной мысли, в угоду теории старался по крайней мере отнимать у нее поэтическое воплощение; "я в душе зло без образов таю", говорил он, – это и отразилось на его "Ямбах".

Мысль каждого ямба – благородна, жива, современна, но она остается отвлеченною мыслью, не воплощаясь в поэтическом образе, – она остается холодною сентенциею (это не противно античной теории, – нет: античная теория любит сентенции, – свидетельством тому бесчисленное множество изречений и отвлеченных размышлений, написанных новейшими поэтами в древнем элегическом размере, и похвалы, которыми осыпались эти перемешанные с пентаметрами гекзаметры), она остается вне области поэзии, как то и усиливался сделать поэт, по его собственному признанию.

Мы приведем пример этой отвлеченности, этого чуждого поэзии отсутствия живых образов, которыми бы воплощалась мысль:

ЖЕЛАНИЕ

*Чуждо совершенства
Нашей жизни зданье;
Цель ее – блаженство,
А она – страданье.*

*Все в ней пропадает,
Все, что так прекрасно:
Только зло всплывает
В наготе ужасной.*

*В этом звучном море
Сродного нет звука;
В сон исходит горе,
Страсти вторит мука.*

*Счастьем не согрета
Ни одна минута,
Мысли нет привета,
Чувству нет приюта...*

Пусть же хрупкой чашей

*Эта ложь прольется:
Хаос жизни нашей
В вечность разовьется.*

Поэзия требует воплощения идеи в событии, картине, нравственной ситуации, каком бы то ни было факте психической или общественной, материальной или нравственной жизни. В пьесах, нами выписанных, этого нет: идея остается отвлеченною мыслью, потому остается холодною, неопределенною, чуждою поэтического пафоса...

Мы так много и так прямо говорили о недостатках, которыми вообще страдала поэзия г. Щербины, отчасти уже и в "Греческих стихотворениях", но гораздо больше в последующие годы, что – чего доброго – иному может показаться, будто мы находим особенное удовольствие в анализировании этих слабых сторон. Что сказать на такое предположение? Да, пожалуй, мы нашли бы не только удовольствие, но и положительную заслугу в этой строгости, если бы г. Щербина согласился в справедливости наших замечаний, – тогда, решительно отбросив теорию, его запутывавшую, и предавшись естественному влечению своего таланта, он дал бы русской литературе произведения, которые поставили бы его наряду с первыми нашими поэтами. Если ж он не оправдает нашей требовательности полнейшим и вернейшим употреблением сил своего таланта (требовательность уместна только относительно человека сильного), мы, конечно, будем раскаиваться в нашей строгости, как в деле, которое не достигло своей цели, осталось бесполезно. Во всяком случае, мы обязаны представить доказательства тому, что имеем право многого ожидать от замечательных сил его таланта, если он решится совершенно отбросить ошибочную теорию, до сих пор сковывавшую силы его. Нам случалось слышать сомнение в том, сохранилась ли сила и свежесть этого таланта после "Греческих стихотворений". Чтобы уничтожить всякое колебание в ответе на это, мы в доказательство силы таланта г. Щербины приводим только такие пьесы, которые писаны после 1850 года.

*ДЕВУШКА У ХАРОНА
Новогреческая песнь*

*– Хорошо вам, горы, счастье вам, долины:
Вы себе живете без тоски-кручины!
Вечно вы цветете, нет для вас Харона!
Как и вы, цвела я, роза Киферона,
Любовалась так же утренней зарею,
А меня скосила смерть своей косою...
Без меня на свете все живет и дышит,
И меня не знает, и меня не слышит!
Там зазеленело божией весною,
И луга запахли молодой травой;
Ярко запестрели все поля цветами,
И холмы покрылись белыми стадами;*

*В густоте дубравы, солнцем не палимой,
Паликар гуляет с девушкой любимой,
И, целуя жадно ей уста и плечи,
Говорит он милой золотые речи;
Мать красивой дочке расточает ласки,
Бабушка-старушка рассказывает сказки...
О, когда бы можно, вечно бы жила я,
Как ребенок с куклой, с жизнью играя.
Если б наши клефты в ад сюда попали,*

Верно бы Хароном в битве совладали;
Жалобною речью я б их ублажила
И, ласкаясь к храбрым, так бы говорила:
"Я в жилище смерти выплакала очи,
В холоде могильном, средь подземной ночи.
Здесь темно и тесно... Зренье просит света,
Сердце просит ласки, а душа – привета...
Клефты-паликары! убегу я с вами
В край, где льется воздух светлыми струями,
Где раздолье жизни, где толются люди,
Где любить приволье лебединой груди;
Я хочу утешить мать мою в печали,
Я хочу, чтоб сестры слез не проливали,
Чтоб не горевали неутешно братья
И свою Зоицу приняли б в объятия..."

– Не крушись, Зоица, по родным напрасно:
Им живется сладко, весело и ясно!..
На земле, подруга, все тебя забыло!
(Так, вошедши, Деспа к ней заговорила.)
От людей к Харону нынче отошла я,
И тебя лишь годом дольше прожила я...
Виделась недавно я с твоей роднёю:
Все они довольны, счастливы судьбою...
Братья, – да и сестры, позабыв печали,
У соседа Ламбо на пиру плясали,
Бабушка болтала под окном с кумою
И своей хвалилась давней стариною;
Мать все хлопотала о невесте сыну:
О тебе ж, бедняжка, не было помину!

ПРОСЬБА ВЕСНЫ

На прощанье певичу говорила,
Отлетая надолго, весна:
"О, поэт мой, тебя я любила,
Я была и тепла и ясна.

Расстаюся я с милой землею,
Мне так долго ее не лобзать,
Не лелеять своей теплотою,
И цветущих красот полнотою
Мне ее головы не венчать!

Покидаю я женщин прекрасных
И ласкаемых мною детей,
Для ночей безрассветно-ненастных,
Для холодных, бессолнечных дней...

И не будут, роскошными снами
Упиваясь блаженно, они
Пробуждаться и спать с соловьями...

Покидаю я их сиротами...
Заменя им меня, замени!

Разлучаться мне горько с землею...
Но, поэт мой, я в сердце твоём
Неразлучной живу красотой
И твоим пламенею стихом;

Я оставлю в нём звуки и краски,
И мой свет, и мою теплоту,
Ветерка перелетные ласки,
И потоков журчащие сказки,
И луной разлитую мечту.

Как померкнет сиянье лазури.
Как поблекнут без жизни поля,
Да завоюют холодные бури,
Да оденется в саван земля,

Мой избранник, людей утешая,
Возроди меня в песнях своих,
Чтоб пред ними опять расцвела я,
Благовонна, свежа, молодая,
В трепетаньи стихов золотых...

Но, весеннее счастье зимою
Разливая меж братьев-людей,
Надели им возлюбленных мною
Всех обильнее, жен и детей,

Чтоб я в песне твоей зеленела,
Согревая озябнувший лес,
На снегах бы цветами пестрела,
Наливалась в колосья и зрела
И сияла бы с зимних небес,

Чтобы все, забывая морозы,
Погрузилось в знакомые сны,
В ароматные майские грезы,
В обаянье волшебной весны...

И под власть твоего вдохновенья
Все отдастся, поэт-чародей,
И, внимая словам песнопенья,
От земли моего удаленья
Не заметит никто из людей.

Им прольюся я полною чашей
Из искусных художника рук,
Им я буду и лучше, и краше,
Облеченная в образ и звук".

ЗЕМЛЯ

Ты помнишь ли случай, родная?
Когда я ребенком была,
В саду, меж цветами летая,
Меня укусила пчела.

Как палец мне жало палило,
И слезы ручьями текли, –
На палец ты мне положила
Щепотку холодной земли...

И боль оттого унялася,
И радостно видела ты,
Как я побежала, резвяся,
За бабочкой пестрой в кусты...

Пора наступила иная,
И боль загорелась вновь...
Боюсь и признаться, родная,
Что сердце мне жалит любовь!

Но тем же и этой порою
Ты молишь меня исцелить –
Холодной могильной землю
Навеки мне сердце покрыть...

NOCTURNO

На меня из цветущего сада
Освежительно веет прохлада;
Ароматы несутся в окно,
В небесах и светло, и темно.
Многозвездная ночь окаймила
Отливным серебром дерева,
На озерах горит синева,
И так страстно ночные светила
На красавицу землю глядят,
Будто пасть ей в объятья хотят.
Опускаясь, вздымаются воды:
Они кажутся грудью природы,
И биение сердца ее
Будто слушает ухо мое.
Ко всему во мне дышит сострастье,
И похожее что-то на счастье
И на жизнь пронеслось надо мной...
Я расцвел первобытной весной.

О, давно позабытая мною,
Ты меня позабыла давно!
Но нежданно мне этой порою
Твое имя призвать суждено

*И спросить тебя с прежнею страстью:
Что в душе у тебя в этот час?
Хоть мгновенному веришь ли счастью,
Что навеки умчалось от нас?
И полна ль твоя жизнь благодатью,
Иль хоть тихим забвеньем полна,
Или все предала ты проклятью,
Чем тебя чаровала она?
Пламенеет ли взор твой порою
И цветет ли румянец былой?..
О, скажи мне, мой друг, что с тобою,
И душой угадай, что со мной!..
Но от милой не слышно ответа,
Все вокруг равнодушно молчит;
На привет не дают мне привета:
Голос милой моей не звучит.*

*Об участьи молящие очи
Я к светилам торжественной ночи
Простодушным младенцем вознес,
Но в потоке молений и слез
Я участья к себе не заметил:
Был прекрасно, но холодно светел
Обаятельный воздух ночной,
Без созвучья с моею душой...
Я хотел, чтоб суровые бури
Помрачили сиянье лазури
И в гармонию, тьмой и борьбой,
Чтоб природа слилася со мной.*

Такие вещи может писать только человек с истинным и сильным талантом, – и в том, что г. Щербина обладает талантом, никогда не сомневался никто из людей, внимательно изучавших его произведения. Во многих из его пьес были заметны ошибки, внушаемые ошибочною теориею; часто было видно, что его фантазия увлечена к ложным, натянутым целям; но сильный талант был виден всегда.

Мы возвращаемся к тому, с чего начали. Г. Щербина, занимающий и ныне почетное место между поэтами, должен стать гораздо выше, когда решится дать простор своим живым влечениям, совершенно отбросив насилование таланта ради теоретических предубеждений. Он начал стихотворениями в античном роде, – этот род наименее способен возбуждать живую симпатию современного мира, но, к несчастью, многие так называемые ценители искусства, – понимающие под искусством искусственность, – очень дорожат античною манерою отчасти за то, что она трудна, отчасти за то, что она чаще всего бывает искусственна. Несмотря на несимпатичность манеры, господствовавшей в первых стихотворениях г. Щербины, они были приняты с громким одобрением, потому что непринужденно возникли из фантазии поэта; вследствие субъективных условий развития она была переполнена античными образами, – "от избытка сердца должны говорить уста", и г. Щербина был прав перед своим талантом.

Любители и ценители искусственности истолковали успех г. Щербины таким образом: не потому он имеет успех, что он человек с талантом, не насилюющий своего таланта, а потому, что он пишет в античной манере, которая восхитительнее всех других манер; итак, пусть он, во что бы то ни стало, вечно продолжает писать в античной манере. Сам г. Щербина увлекся этим ошибочным соображением.

Мы видели следствия этой теории, заставлявшей г. Щербину, наперекор новым влечениям своего таланта, все облекать одеждою античности, – это значило "вливать новое вино в старый мех", и новое вино разрывало старый мех, и то и другое – вино и мех – погибало. Он насиловал свой талант.

Но "вольному воля", а поэт по преимуществу должен быть волен. Уста его должны говорить о том, чем переполнено его сердце. Мы видели, куда влечется г. Щербина новою склонностью своего таланта, – к современной жизни. Пусть же безбоязненно он погрузится в нее. Пусть он пишет античные стихотворения только тогда, когда именно к античному миру обращается его талант, – в другое время, в минуты других настроений, пусть его перо забывает об античности, как забывает сердце, пусть он дает своей мысли свободно облекаться в образы, рождаемые ее сущностью, не втискивая ее насильно в чуждые ей рамки.

Автономия – верховный закон искусства. Если он будет соблюдать этот верховный закон поэзии, – "храни свободу своего таланта, поэт", – что тогда будет он писать? Пока не изменится господствующее теперь стремление его таланта, он будет писать проникнутые жгучим сарказмом укоры людям. Но если бы расположение духа, которое, кажется нам, должно вести к подобным произведениям, миновалось в г. Щербине, – что тогда? – тогда все-таки пусть пишет он в таком роде, к какому влечет его талант в данное время, хотя бы то была поэзия радости, примирения, кто имеет право требовать от поэта, чтобы он насиловал свой талант? Можно требовать только того, чтоб он старался развить себя, как человека. Это развитие человека в поэте составляет великое преимущество г. Щербины перед многими; он не может не быть гуманен, не может не сочувствовать живым вопросам современности, в какой форме, в каком направлении найдет удовлетворение себе талант поэта, который стал человеком – должно быть решаемо жизнью самого поэта. Пусть только он блюдет свободу своего таланта от всяких насилований; пусть всю фантазию свою предает тому, чем переполняет жизнь душу его: от избытка сердца должны говорить уста поэта, особенно поэта, одаренного столь прекрасным талантом и столь живою натурою, как г. Щербина.